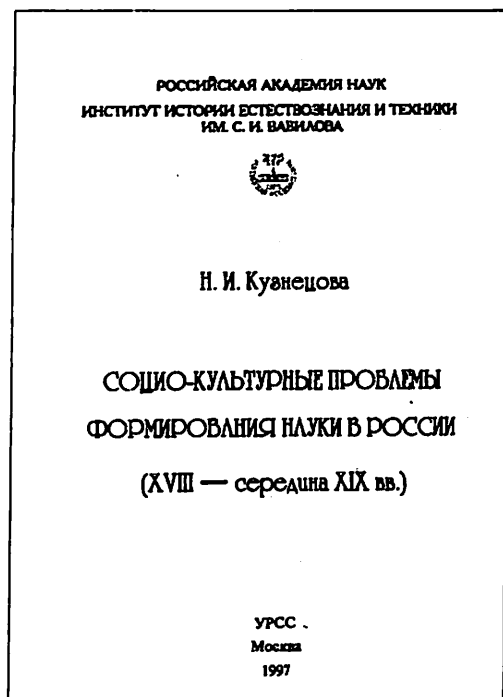


Размышления над книгой

Е. Б. РАШКОВСКИЙ

НАУКА, ФИЛОСОФИЯ, РОССИЯ: заметки на полях книги Н. И. Кузнецовой*



Одна из важнейших программ моих исследований на протяжении последней трети века — историография мирового и отечественного социогуманитарного знания. И в частности, знания науковедческого. В рамках этой программы и находится статья, которую я ныне предлагаю великодушному вниманию читателя.

Книга Н. И. Кузнецовой — для всех, кто интересуется теоретическими вопросами науковедческого знания (в самом широком понимании этого слова), а также фундаментальными проблемами отечественной истории. Монография вышла под грифом ИИЕТ РАН крохотным тиражом, несообразным ее содержанию и значению.

Несколько месяцев спустя после выхода в свет этой книги, последняя, наряду с другими трудами Н. И. Кузнецовой, явилась предметом теоретического обобщения в ее докторском докладе [1], успешно защищенном в Институте философии РАН.

Обсуждаемая книга отличается не только фактологическим богатством, но и теоретической емкостью. Докторский доклад, равно как и материалы докторской дискуссии, проливают дополнительный свет на эту книгу.

То, что предлагается читателю ниже, — не рецензия в строгом смысле слова. Обычно рецензия слагается, во-первых, из некоторого дайджеста, призванного в какой-то мере заменить прочтение рецензируемой книги, а во-вторых, из констатации, реже из обоснования ее действительных или мнимых достоинств и недостатков. То, что предлагается читателю ниже, является историографическим исследованием.

На мой взгляд, если книга действительно ценна, изложение ее готовых результатов лишь мистифицирует ее живой текст. Я могу лишь пригласить читателя к некоторому общему разговору о книге, о ее открытых проблемах и полускрытых смыслах.

Содержание книги несколько шире ее формальных хронологических рамок: от цивилизационно-культурного коллапса предпетровской Руси, подсказавшего

* Кузнецова Н. И. Социо-культурные проблемы формирования науки в России (XVIII — середина XIX вв.). М.: УРСС, 1997. — 264 с.

Петру идею волевого и многопланового насаждения идейных и организационных предпосылок дальнейшего развития современного научного знания в России, до пореформенного периода, ознаменованного трудами К. фон Бэра или А. М. Бутлерова, — периода, когда сознательная рефлексия о содержании и судьбах науки стала неотъемлемым элементом общего строя российской научной мысли.

Само содержание книги отчасти подсказывает и ее методологию: не событийная история науки, восстанавливающая хронологическую и отчасти логическую последовательность научных свершений, и не «чистая» история научных интуиций, установок и идей, но нечто особое — история научной мысли и научного знания в широком контексте их связей с окружающим и отчасти порождающим их обществом. Связь между рациональным научным знанием и обществом осмысливается не как детерминистская, но как коррелятивная. И в таком теоретическом раскладе особый упор делается на историю институтов науки и самосознания науки, — самосознания сложнейшего, мотивируемого в своем становлении и развитии и внутренним опытом ученых, и опытом научного общения, и многообразными формами воздействия общества и установок культуры на мысль и практику ученых.

Думается, такой подход должен быть существен не только для тех, кто интересуется отдаленным — по нынешним историко-научным меркам — периодом, который исследуется в книге Наталии Ивановны. Я уверен, что подход этот важен и для историков науки в пореформенной России, и для исследователей насыщенных и трагических событий истории знаний как в тоталитарно-советской, так и в нынешней, постсоветской России.

Перейдем теперь непосредственно к содержанию книги.

1

Каждое серьезное исследование, включая и исследования по истории науки, несет в себе некое полускрытое, но важное послание читателю, — послание, вольно или невольно заложенное автором не только в теоретические обобщения, но и в самое текстуру книги.

Если резюмировать то скрытое послание, которое заложено в книге Н. И. Кузнецовой, я бы отважился расшифровать его примерно следующим образом. Наука — необходимый стране, народу, обществу тонкий, хрупкий и во многих отношениях самоценный организм, требующий особого внимания и бережения. И одно из величайших всемирно-исторических свершений Санкт-Петербургского периода российской истории как раз и заключается в том, что именно в Санкт-Петербургский свой период страна — при всех недостатках и срывах — все же сумела создать такой уникальный организм. Сумела развить в своем лоне, и притом без достаточно глубоких внутренних исторических предпосылок, ту сложную и многогранную систему социокультурных отношений, которую, с легкой руки индийских мыслителей и науковедов второй половины XX в., принято именовать «научной традицией» [2; 3]. Строящаяся на теоретических предпосылках европогенного, посткартезианского, самокорректирующегося и самопреобразующегося рационального знания, «научная традиция» не может быть лишь импортным, оранжерейным цветком на местных «почвах». Она только тогда и становится сама собой, когда проходит процесс «укоренения», вступает в серьезную и нерасторжимую связь со всем комплексом интеллектуальной и культурной жизни данного общества: с его лингвистическим, ментальным и интеллектуальным наследием, со сквозной исторической и экологической проблематикой данного общества.

Можно много и детально говорить о весьма дальних и проблематичных предпосылках «научной традиции» допетровских времен [4]. Но тот византийско-ордынский

социокультурный синтез, который возобладав в допетровской Руси, когда военно-абсолютистское государство, принявшее на себя всю тяжесть исторического собирания страны и народа, узурпировало и личность, и общество, и общественное сознание [5], не мог не разрешиться глубочайшим надломом Смутного времени [6] и социокультурным расколом XVII, «бунташного» века.

Н. И. Кузнецова не случайно обращает внимание на особую, существенно антиинтеллектуалистскую установку в культуре предпетровской Руси — установку исключительно на то, что М. Шелер называл «спасительным знанием», «знанием во спасение» (*Rettungswissen*) [7] — в ущерб иным формам интеллектуально-познавательного опыта человека. Н. И. Кузнецова приводит в этой связи характерную, неотразимую в своей сокрушительной правоте выписку из наставления, относящегося к 1643 г.:

Братие, не высокоумдествуйте, но во смирении пребывайте, посему же и прочая разумеайте. Аще кто ти речет: веси ли всю философию? — и ты ему рщи: еллинских борзостей не текох, ни риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы не бывах — учуся книгами благодатного Закона, аще бы мощно моя грешная душа очистить от грех (с. 56; цит. по (8, с. 3)).

Обскурантизм, т. е. непомерная абсолютизация «спасительного знания», не мог не бить не только по государству и по обществу, но и, как показано в книге, по сфере отношений церковных: гордая собой безграмотность уродовала весь богослужебный и религиозно-воспитательный процесс.

Не подлежит сомнению то обстоятельство, что некоторая часть русских людей или, по крайней мере, правящих кругов тогдашней России, искала путей выхода из тяготевшего над страной цивилизационно-культурного коллапса: кружок «протопопов», Никонова реформа, привлечение православных ученых из Речи Посполитой и Балкан, первые опыты переводных печатных публикаций*, введение полков «немецкого строя», даже робкие попытки расширения системы образования и — не побоюсь сказать — первоначальной научной институционализации.

И вот — в продолжение мыслей Н. И. Кузнецовой — я мог бы привести один из поразительнейших тому примеров. Почти после трех веков третирования начатков теоретического мышления, уже под самый занавес предпетровской эпохи, в Московском государстве было впервые организовано (если не считать унаследованной от Речи Посполитой Киево-Могилянской академии) учебное заведение университетского типа: Славяно-греко-латинская академия. Это — прямой предшественник нынешней Московской духовной академии. И сам принцип построения академии отражал запоздалые влияния уже во многих отношениях надломившейся контрреформационной культуры западной соседки Руси — Речи Посполитой. Само название академии выразительно: умиравшая предпетровская Русь, в лице, по крайней мере, правящих своих кругов, начинала отказываться от былого презрения к еллинским и «латынским борзостям». Это был как бы пересаженный на почву православной Москвы католический университет средневековой Европы, с тривиумом и квадривиумом, с аристотелевой космологией, с правом теологической экспертизы подозреваемых в неортодоксальности мнений. Сама дата открытия академии — 1687 г. — красноречива. К тому времени уже не было в живых Г. Галилея и Р. Декарта, уже оформилась первая научная институция современного типа — Лондонское Королевское общество; в тот же год вышли из печати «Математические начала естественной философии» — основной труд И. Ньютона.

* Первые русские технические переводы времен Алексея Михайловича относились к области военного дела.

Иными словами, все средневековые программы образования, научной мысли и организации науки оставались уже в невозвратном прошлом.

Но так или иначе, глубинная традиционная база российской творческой эволюции, существенно отрезанной от культурной эволюции народов Европы, включая и западнославянский ареал, оказалась истощенной и подорванной. Это, кстати сказать, было удостоверено кровавыми событиями церковного Раскола 1660–70-х гг., Разинщины, Соловецкого сидения...

В самой нереалистичности, в самом кажущемся безумии петровского подхода к назревшим задачам и приоритетам научного строительства в России Н. И. Кузнецова усматривает одну из глубоких творческих предпосылок последующих культурно-исторических судеб страны. Петровский замысел создания Российской академии наук представляется ей в этом плане особо важным.

Преобразователь, создававший Академию на путях первоначального «импорта» ученых «от стран чужих»* ради дальнейшего воспитания ученых высокого класса из среды самих россиян, ориентировал Академию не только на прикладные (военно-прикладные, управленчески-прикладные) знания, но прежде всего на знания фундаментально-теоретического плана. Такой замысел не был понятен не только что подавляющему большинству соотечественников, но и многим среди лучших умов тогдашней Европы. По мнению Христиана Вольфа, России было бы целесообразнее развивать те области, которые принято ныне именовать областями популяризации и прикладных исследований (с. 32–33).

Но за этим внешним безумием, как настаивает исследователь, стояло несомненное «государственное историческое воображение» царя-реформатора (с. 32). А за воображением этим — не только боль предшествовавшего культурно-исторического коллапса Московии, не только острейшая интуиция**, не только вера в свою страну и в собственное свое призвание, но и некий гибкий рациональный взгляд, рациональный проект. Проект, казалось бы, безумный в своей рациональности, но оправданный последующей историей страны: не «Третий Рим» (проект старца Филофея в XV в.) и не «Новый Иерусалим» (проект патриарха Никона в XVII в.), но некий «Новый Амстердам».

Казалось бы, — беспочвенная греза: превратить полувосточную, полуархаистическую сухопутную державу в подобие морских протестантских государств Северной Европы. Вспомним в этой связи о петровских преобразованиях в области государственной символики: российский триколор — инверсия (притом, как мне кажется, эстетически более удачная) триколора голландского; андреевский крест, ставший неотъемлемой частью российской военно-морской и орденой символики, дотоле был и поныне остается элементом символики Шотландии, Великобритании, Амстердама. Казалось бы, чисто механическое заимствование, произвол...

Но это рациональное безумие опиралось на своеобразную и продуманную философию истории, изложенную Петром в речи при спуске и освящении корабля «Илья Пророк» (1714): Россия — наследница той общечеловеческой эстафеты научных знаний, которые, зародившись в Древней Элладe («истинном отечестве» наук), развившись в Европе, пройдя через немецкие и польские земли, призваны стать достоянием и россиян (с. 39–41). Если говорить языком более современным, Петр

* М. В. Ломоносов, «Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее величества императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

** Если вспомнить стихи О. Мандельштама:

...не прихоть полубога,

А хищный глазомер простого столяра («Адмиралтейство»).



*Кunstкамера. Современный вид.
Гравюра А. И. Мищенко*

мыслил Россию как страну, призванную достойным образом участвовать в универсализации рационально-научного знания.

Первой жилой резиденцией приглашенных из Европы российских академиков были Кикины палаты, первым местом академических заседаний — дом барона П. П. Шафирова; но уже вскоре и жилые, и рабочие помещения Академии были переведены на Васильевский остров. И в этом последнем обстоятельстве исследователь усматривает своеобразный и выразительный символ «амстердамского проекта» Петра Великого...

К чести Н. И. Кузнецовой, она не склонна сентиментализировать и идеализировать историю первых шагов отечественного «державного» Просвещения: и варварство контекста и методов петровской «революции», и чужеродный характер тогдашних научных знаний, насаждавшихся в стране, — все эти вещи были и остаются очевидными. И всё же без казенных волевых актов Петровского «просветительства» — не стала бы со временем Русь страной Н. И. Лобачевского, Д. И. Менделеева, Н. И. Вавилова, В. И. Вернадского, Л. Д. Ландау...

Таково было начало длительного и трудного процесса становления великой дворянско-разночинной культуры Санкт-Петербургской России.

Не просто Просвещение, но Просвещение предписанное, Просвещение кнутом и «регламентом» не могло не вызывать сопротивления и неприятия в обществе. И вполне понятной и неизбежной, как показывается в книге Наталии Ивановны, оказался особый социокультурный статус российской науки XVIII — начала XIX в.: наука, вырастающая не из естественных и осознанных интеллектуально-духовных исканий широких слоев общества, но наука государственная, государева, регламентированная казенной дисциплиной лояльности и чинопочитания, дисциплиной с административными распекациями и попреками, с произнесением и выслушиванием подобострастных речей, од и кантат.

Но ведь принципы лояльности и чинопочитания слишком глубоко укореняются в поведенческих навыках и сознании интеллектуалов и ученых; государственнический взгляд на научную мысль и практику, повинувшись господствующим веяниям и тенденциям, может, сменив свои идеологические знаки, легко преобразоваться во взгляд популистский, «национальный» или «классовый». И вновь может покориться государственному абсолютизму на ином витке истории, что, собственно, и проявилось в последующие времена истории российской...

Но пока государство, закономерно расширяя свою социокультурную базу, при всем его абсолютизме и полуварварских срывах, все же оставалось, по словам А. С. Пушкина, чуть ли не «единственным европейцем» в России. А казенно-государственное просветительство исподволь восполнялось и поддерживалось просветительскими устремлениями и усилиями со стороны численно разрастающейся

дворянской интеллигенции, хотя и здесь отношения были далеко не идилличны.

Этой проблеме посвящены чрезвычайно интересные главы 3 («Формирование информационной среды российской науки XVIII в.») и 4 («Российская наука в фокусе общественного мнения») — главы не столько о российской научной мысли как таковой, сколько о ее общекультурной инфраструктуре. Как показано в книге Н. И. Кузнецовой, конец XVIII в. был беспрецедентным — с точки зрения предшествующей российской истории — в увлечении словарями, энциклопедиями, лексиконами, компендиями, компиляциями, комментариями, всяческим эрудитством. Это еще не творческая наука как таковая, но, скорее, необходимая, хотя и недостаточная часть социокультурной инфраструктуры науки, часть «экологии науки»* и — вместе с тем — свидетельство не только и даже не столько движения науки навстречу обществу, сколько общества — навстречу науке (с. 167–191).

Речь, если угодно, — о том встречном движении Науки и Общества, движении, опосредованном глубоким проникновением посткартезианской, самоанализирующей рациональности в культурный опыт людей, без которого немыслимы никакие серьезные разговоры о научной традиции.

Картина взаимодействия Науки и Общества на этих незрелых стадиях становления российской научной традиции пока еще элементарна и одностороння: свет против тьмы, просвещение против невежества, Правдины против Скотининых, научное знание — кумулятивно, рациональность — всеблага... И сам образ ученого приобретает в этом контексте незрелого, «бедного» рационализма мифологизированные черты «культурного героя», Прометея. И это мифологизированное видение не лишено известной правоты: исторические пути науки ознаменованы целым сонмом мучеников — от Гипатии Александрийской до А. Л. Лавуазье; опыт XX столетия, с тоталитаристскими гонениями против ученых, лишь подкрепляет эту «прометеевскую» мифологию**. Но вопрос только в том, в какой мере эта мифология соответствует самому предметному содержанию и реальным судьбам науки, а не только поверхностной оппозиции света и невежества.

Сейчас, опираясь на труды К. Поппера, Т. Куна или М. Фуко, легко говорить о том, что наука внутренне оспаривает не только порождающее и окружающее ее общество, но и самое себя. Как пишет в этой связи Н. И. Кузнецова, эволюция научного знания знаменует собой не просто «смену ответов на поставленные вопросы», но и «смену самих вопросов» [1, с. 1]. Но в такой перспективе и общество выглядит по-иному: не только как породитель или оппонент науки, но и как частичное ее порождение. Точнее, частичное порождение ее сменяющихся стадий, что еще более драматизирует суть проблем...

И вот здесь, в этой точке нашего разговора, мы подходим к одному из самых интересных разделов книги Н. И. Кузнецовой о становлении и самосознании науки в Санкт-Петербургской России — к заключительной, 5 главе, — «Наука без пафоса: развитие научной рефлексии».

Своеобразие этой главы в том, что писал ее не просто историк науки и не просто историк России, но — философствующий историк науки в России. Исследовательской базой этой главы послужили идеи и тексты замечательных ученых-естественников

* Обсуждением этого аспекта трудов Н. И. Кузнецовой мы займемся на исходе настоящего очерка.

** Одним из вершинных выражений этой мифологии в искусстве XX в. была драма Б. Брехта «Жизнь Галилея». Москвичи старшего и среднего поколения, должно быть, помнят, что постановка этой драмы в Театре на Таганке с В. Высоцким в главной роли не могла не восприниматься как некий художественный вызов партократическому режиму.

России: К. фон Бэра, В. Я. Струве, Н. А. Северцева, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. И корпус этих идей и текстов, анализируемых Наталией Ивановной, отражает не только движение науки к обществу, но и движение науки к самопознанию, к открытию моментов собственной автономности и самооценности. И вместе с тем — к осознанию многозначности и проблематичности своих путей. А в плане чисто историографическом — движение от истории конкретных ученых в их конкретных свершениях к динамической, и притом сверхличной, хотя и необходимо раскрывающейся через личность истории смыслов и идей (с. 217–246). Былая театрализованная, «прометеевская» история науки ставится под вопрос.

Чисто теоретическое резюме этой проблемы Наталия Ивановна высказывает следующим образом:

Формирование видения науки как безличного массива знаний, видения объективной динамики направлений мысли — важная тенденция, которая ... меняет и само направление научной рефлексии. На первый план выходит осмысление своего места в цехе профессионалов своей области. И дело уже не в заслугах отдельных лиц, не в персонах как таковых — дело в траекториях самой науки, которая идет каким-то своим ходом, подчиняется своим импульсам и законам. Я-образ подлинного — профессионального — ученого, образ естествоиспытателя, выстроенного при этом не для того, чтобы «нравиться широкой публике», а для нужд собственной работы, — весьма сдержан, и совершенно новые черты выступили на первый план в этом рефлексивном «автопортрете». Попробуем их перечислить:

- признание права ученого на ошибку;
- научная критика становится нормальным явлением, способом выяснения сущности вопроса, а не субъектом столкновения «правого» и «неправого»;
- знание предшественников позволяет понять, что не столько личность формирует программу научных исследований, сколько программа исследований соединяет лиц для коллегиальной работы;
- знание динамично: области знания и научные дисциплины непрерывно перестраиваются (с. 217).

2

Российской науке, зародившейся, сложившейся и окрепшей в Санкт-Петербургский период истории страны, предстояли — от периода контрреформ до нынешних дней — нелегкие испытания: испытания социальными бурями, испытание силами популистской, националистической и «марксистско-ленинской» идейной реакции, испытание бесконтрольностью бюрократической власти. И что поразительно — именно пореформенный период со всеми его внутренними кризисами знаменует собой бесспорный и признанный выход российской культуры и науки на мировые рубежи. Вопрос о связи истории науки с тектоническими сдвигами в социальной и культурной истории — вопрос особый, находящийся, по сути дела, за рамками исследования Наталии Ивановны. Но вот вопрос о тенденциях идеологической реакции в отношении науки, вопрос о трагической роли чисто служебного подхода к человеческому знанию и — шире — к человеческому духу рассматривается Н. И. Кузнецовой пристально и серьезно (с. 183–197). Хотя глубина ее подхода к этому вопросу представляется мне не вполне достаточной.

Вообще амбивалентная связь «прогрессов» и «реакций» — неотвратимая головоломка для историка. Расшифровка и описание исторической текстуры хотя и неподвластны ценностным установкам исследователя — всё же не даны ему помимо этих установок. И любые диалектические ухищрения здесь выглядят чаще всего лишь мистификацией этой ускользающей ткани...

Итак, уже в четвертую декаду XIX столетия в русской мысли — силою вещей — обнаруживаются первые симптомы конфликта двух идейных императивов: императива просветительского (после 14 декабря 1825 г. — уже не государственно-, но оппозиционно-просветительского) и императива научного (точнее даже, естественно-научного), связанного с проблематикой не только познания природы как таковой, но и с противоречивостью путей ее осмысления и описания. И здесь Наталия Ивановна подходит к одной из духовных коллизий российской истории, наложившей, как мне кажется, глубочайший отпечаток на весь ее последующий ход: коллизии культуры как таковой (включая культуру естественно-научного мышления) и «просветительского» императива, стремившегося к скорому изменению всего склада не только что российской, но и вселенской жизни. Изменению во имя представления о рациональности блага и о благодетельности рационального.

Страшно сказать, но, наблюдая эту коллизию в сегодняшней исторической ретроспективе, придется признать, что для российского «просветителя»-популиста (будь то в его народническом, националистическом, марксистском или каком-либо ином обличье) элементы научной критики, во многом выработанные в лоне естественных наук, были ценны прежде всего как предпосылка некоей революционной эсхатологии. И не более.

Молодой А. И. Герцен, обвинявший в дилетантизме (т. е. в отсутствии подлинного научного мировидения) тех, кто относился с особой преданностью и с особым пиететом ко всякого рода внутринаучной проблематике, сам в конечном счете оказался предтечею того, если можно так выразиться, эсхатологического дилетантизма, который стал одной из печальных доминант отечественной истории. Вот что пишет в этой связи Наталия Ивановна об основном круге идей молодого Герцена, столь подробно описанных и в его трудах, и в его мемуаристике, но — увы — по сей день не осмысленных всерьез:

Наука, в понимании Герцена, — последнее слово всей культурной истории человечества, ею решаются и должны решаться все основные вопросы современности, главный из которых — *правильное социальное устройство*. Поэтому научное доказательство для публициста Герцена должно было приводить людей к *немедленному изменению их мышления и создаваемой ими действительности*.

Получается так, что научные аргументы выступали для него некоторым безусловным средством убеждения или переубеждения; научная истина должна была вести к немедленному действию, жизненной практике. Всё остальное в науке — ее сомнения, неуверенность, гипотезы и проверки, ведущие к новым гипотезам и проверкам, то, что вообще составляет подлинный и честный дух научного поиска, — было глубоко чуждо публицисту и агитатору. В конце концов Герцен закономерно становится революционером, для которого всё — средство» (с. 187–188).

«Люди жизни», «разумные эгоисты», «реалисты», «критически мыслящие личности», несомненно отражая реальные общественные и культурные противоречия предреформенной и пореформенной эпох, во многом способствовали той страшной эсхатологической мутации российской социальности и культуры, которой ознаменован наш почти что ушедший XX в.

Восстание «фольк-науки», этого отчужденного в популяризации и технологии плода строгой научной мысли и практики*, против реальной боли и несправедли-

* Понятием «фольк-науки», обозначающим произвольный набор упрощенных общих мест научной мысли, я обязан английскому математику и науковеду Джерому Р. Равецу [9]. Действительно, все эти классовые, расовые, геополитические и прочие бреды, ставшие в XX в., если вспомнить марксистский словесный штамп, «материальной силой», имеют несомненные предпосылки в фольк-научном мышлении.

востей мира обернулось лишь вящей несправедливостью и болью. Наталия Ивановна пишет об этом процессе «диалектики Просвещения»:

Оказалось, таким образом, что от роли ревнителей Просвещения до роли гонителей профессиональной науки — всего один шаг, который и совершила революционно-демократическая журналистика. Вот — удивительный узор, сотканный к середине века российской общественно-политической мыслью (с. 195–196).

Казалось бы, все справедливо, неоспоримо и обоснованно. Да я и сам неоднократно писал, что «бедный рационализм» был как бы знаком беды отечественной истории последних двух столетий, и не только отечественной. Трудно представить себе что-либо страшней самовлюбленной сермяжной правды, которая сама себя легитимирует обрывками полунаучных понятий. Убежден я в этом и поныне. Более того, подчас мне кажется, что эту свою эсхатологическую неприкаянность (окаянство!) мы отчасти волочим с собою в третье тысячелетие...

Но коль скоро речь у нас — о сюжетах не только макроисторических, но и историко-научных, то картина выглядит еще сложнее. Если исходить из конкретных историко-научных фактов, то «диалектика» российского Просвещения оказала немалое влияние и на мотивационную структуру, и отчасти даже — на предметное содержание отечественной научной деятельности пореформенной эпохи.

Лавровские идеи становления «критически мыслящей личности» и «неоплатного долга» интеллигенции перед бедствующими категориями общества оказались для тысяч молодых образованных россиян не только «эсхатологическим», но и науко-творческим фактором. В подполье шли сотни. Однако тысячи молодых идеалистов шли не в подполье, но в системы земского просвещения, статистики, медицины, агрономии*. Социально-этическая мотивация была несомненно действенна и в академических кругах пореформенной России. И эти до сих пор не осмысленные и не оцененные формы российского научного популизма** сказались на элитарных уровнях российского не только гуманитарно-научного, но и естественно-научного творчества.

Приведу несколько примеров на сей счет.

1. Прежде всего — из области наук социогуманитарных. Хотя мощь популистских влияний на эту сферу российского творчества, казалось бы, общеизвестна, но вот вопрос о народнических влияниях на предметную сторону этого творчества, как мне кажется, изучен еще не вполне.

Интерес к аграрной проблематике и к тем массовым, хотя и эфемерным формам документации, которые создаются деревенской жизнью, обусловил вклад Н. И. Кареева в изучение социополитической динамики Европы Нового времени — динамики, связанной с не изученными дотоле аграрными противоречиями и с активностью низовой провинциальной интеллигенции (землемер, составитель кадастра, писарь, адвокат, сельский священник и т. д.) как вольного или невольного выразителя социальных интересов и настроений деревни. Собственно, на этом

* Вслед за крупнейшим и тщательнейшим историком земского движения в России — Б. Б. Веселовским — я не стал бы сакраментализировать историю этого движения: оно сделало для России не больше, чем муниципальные институты для тогдашних передовых стран Запада. Но для меня важно подчеркнуть ценность идеалистической мотивации «малых дел» в полувосточной, самодержавной стране с несложившимися институтами гражданского общества.

** Конечно же, в реальной жизни научный и политический популизм могли сколь угодно часто сближаться, пересекаться, расходиться и т. д. Но в данном случае для нас особо важна именно историко-научная сторона вопроса.

и строится вся источниковедческая канва знаменитой книги Н. И. Кареева об аграрных предпосылках Французской революции [10].

Значение этой книги — с точки зрения истории мировой исторической науки — прежде всего в плане истории аграрных микро- и макропредпосылок социальных разломов и популизма как всемирно-исторического феномена — представляется мне эпохальным. А уж дальше прослеживаются влияния российских ученых на мировую историографию, социологию, крестьяноведение (М. И. Ростовцев, П. Г. Виноградов, П. А. Сорокин, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов)...

2. Положение русского сельского земского врача, силою вещей обреченного на своеобразную роль медика-универсала, на потребность судьбоносных для пациентов-крестьян импровизационных решений (нужно было сразу быть и терапевтом, и хирургом, и эпидемиологом, и дерматологом, и гинекологом, и психиатром и Бог весть кем еще...) — всё это создавало огромный корпус клинической практики, косвенно подсказывало нетривиальные идеи и ходы для медицинской науки как таковой. Судя по исследованиям ряда историков науки, трудно представить себе многие научные и научно-практические достижения российских медиков без императива социального сострадания и социального служения (т. е., по сути дела, без творчески-популистского императива) именно в этих специфических условиях*.

3. Труды отечественных ботаников, агрономов, селекционеров, лесоводов, работавших — во многом именно по народническому императиву — в различных природно-климатических зонах России, позволили накопить огромный экспериментальный и теоретический материал; и эта огромная и малоосвоенная масса данных косвенно не могла не способствовать тому теоретическому синтезу идей генетики и эволюционизма, который был осуществлен Н. И. Вавиловым, или становлению российской школы популяционной генетики**. Во всяком случае, элементы научного популизма, в той мере, в какой они были свободны от идеологических амбиций, оказались существенной частью становления научной традиции в России. Да и не только в России, — что отчасти и засвидетельствовано науковедческой мыслью в нынешнем Третьем мире.

Но беда, если эти элементы, выходя за рамки культурной и психологической мотивации научной деятельности, начинали претендовать на привилегии в области предметного содержания научной мысли. Здесь кончается собственно наука и обнажается оскал науки «классовой» или «национальной», более смахивающей на оккультный опиум для масс, нежели на науку...

Понимаю, что я вывел разговор слишком далеко за хронологические рамки обсуждаемой книги Н. И. Кузнецовой. Но мне кажется принципиально важным — именно в контексте обсуждаемых трудов Наталии Ивановны — обозначить проблему научного популизма как одну из существенных историко-научных проблем не только эпохи Постпросвещения, но и нашей эпохи постмодерна, тем паче, что сугубо постмодернистская проблема *экологии науки* во многом обуславливает собой весь характер историко-научных и философско-научных исканий нашего автора.

И об этом — заключительный раздел статьи.

* См. в этой связи созданные М. А. Поповским биографии В. А. Хавкина и В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки, ныне причисленного к лику блаженных Православной церковью на Украине).

** Материалы на сей счет можно найти, в частности, в трудах В. П. Эфроимсона, Ж. А. Медведева, Н. Н. Воронцова, М. А. Поповского и др.

3

Обсуждаемая книга Н. И. Кузнецовой, как и многие ее труды последних лет, имеет свой особый интеллектуальный и исследовательский стиль. Стиль этот характеризуется рискованной и амбивалентной связью двух творческих установок: с одной стороны, — философствование, причем особое: связанное с осмыслением судеб науки и потому явно принимающее на себя огонь истории; с другой стороны, — именно по причине того же самого обостренного интереса к судьбам науки — профессионально-исторический, источниковедческий подход, выстраивающий последовательность интеллектуальных событий по оси времен (см. [11]), но принимающий на себя огонь философской критики.

Философ работает над структурами смыслов. Историк — над динамической и многозначной последовательностью событий.

В жестком и последовательно теоретическом раскладе философия и историография — «две вещи несовместные»*. Исследователь, действующий между этих двух огней, сам себя поневоле ставит в разряд тех двуприродных существ, тех «кентавров», которых, согласно Лукрецию, вообще не бывает на свете. А между тем без этой двуприродности, двуприродности факта и смысла, без рискованных компромиссов между суждениями факта и суждениями смысла, — разваливается и всё богатство человеческих познаний, и в частности, богатство самой философии — этого «познания познания» [1, с. 2]. Ибо философские смыслы — при всей их несводимости к истории, при всём обилии их трансисторических измерений — даются человеку именно в истории, подсаживаются историей, прорастают сквозь историю и, входя в состав истории, отчасти конституируют ее собою...

Собственно, в этом и заключается та непреложная познавательная коллизия, исходя из которой Наталия Ивановна вынуждена строить свое учение об экологии науки, — учение, обобщающее весь круг ее философско-научных и историко-научных исследований. Сама она отчасти возводит это свое учение к идеям Д. С. Лихачева об экологии культуры, — правда, существенно меняя при этом теоретические акценты: Д. С. Лихачев акцентирует кумуляцию ценностей и смыслов в истории культуры, тогда как Н. И. Кузнецова акцентирует процесс преемственности-через-обновление. И в этом — ее дань сугубо современному естественно-научному опыту и сугубо современной, если не сказать постмодернистской, философской культуре (с. 3–10; [1, с. 41]).

Попробую пересказать идеи Наталии Ивановны своими словами. И отчасти — опираясь на собственный опыт историко-научных размышлений.

По сути дела, экология науки есть учение о сложном и живом *человеческом* контексте истории научного знания, — контексте, в котором когнитивный момент научной деятельности непреложен и существен, но недостаточен. Работа мысли опосредуется структурой и динамикой человеческого общения. Причем общения не только в его чисто эмпирических — одномоментных — измерениях, но и длительным образом запечатлевающего себя, воспроизводящего себя, отчуждающегося, умирающего и подчас возрождающегося в структурах общества и истории.

Но в таком теоретическом преломлении все методологические разговоры об интернализме и экстернализме, об антикваризме и презентизме в трактовке исторических судеб науки — оказываются существенными лишь как эвристическая игра. Игра, процедурно чрезвычайно важная («с кем вы, мастера культуры?»), но содержательно мало что решающая. И тем сложнее проблема, что когнитивные процес-

* Есть, конечно же, шпетовская, а по существу — гегелевская, проблема «истории как проблемы логики». Но есть еще и поставленная богословами и философами проблема мира и мышления «после Освенцима и ГУЛАГа», ставящая под вопрос самоуправное логизирование истории и его результаты.

сы — далеко не пассивное «отражение» исторических динамик и структур. И в то же самое время — далеко не «метаистория». Эти процессы — неотъемлемая часть истории человеческого духа, а через нее — истории индивидуальной, социокультурной, гражданской. Истории как таковой. И в этом смысле сам исследователь истории становится неотъемлемой частью научно-экологического пространства, а через него — и частью Большой Истории, исторического Жизнебытия. В этой связи Наталия Ивановна приводит выписку из относительно ранней статьи В. И. Вернадского «Кант и естествознание» (1904). Но что поистине великолепно: историко-научный дискурс Вернадского как бы врывается в наши нынешние споры о путях познания и самопознания науки в макроистории:

Прошлое научной мысли рисуется нам каждый раз в совершенно новой и все новой перспективе... История научной мысли, подобно истории философии, религии или искусства, никогда не может дать законченную неизменную картину, реально передающую действительный ход событий, так как давно бывшие события выступают в разные времена в разном освещении, так или иначе отражают современное исследователю состояние научных знаний. В этой области научных изысканий историк, даже больше, чем где-либо, переносит в прошлое вопросы, волнующие современность, сам создает, если можно так выразиться, материал своего исследования, оставаясь, однако, всё время в рамках точного, научного наблюдения... [1, с. 20]

Одна из разгадок этой странной, хоть и не слишком значительной, но ответственной и малопредсказуемой власти историка (будь то историка науки, философии, региона, народа, периода...) над Большой Историей, над нашей-с-вами-историей, заключается в том, что историк напрямую соприкасается с проблемой реального человеческого следа в текстуре истории — с проблемой источника. Но эта проблема — коль скоро исторический метод так или иначе присутствует в любой из серьезных научных или философских разработок — пронизывает собой жизненный мир, «труды и дни» любого из ученых.

Источник-текст, без осмысления которого невозможна никакая серьезная рефлексия о прошлом, подлежит взаимодополняющему двуракурсному осмыслению: как говорили старые философы и богословы, осмыслению *in situ* и *in transcendentia*. Или, как сказали бы последователи немецкого классического идеализма, — осмыслению источника-в-себе и источника-для-нас. Или, как сказали бы мэтры и корифеи нынешнего постмодернизма, — осмыслению в микро- и макроконтексте*. Дело здесь, разумеется, не столько в предпосылочном различии этих трех дихотомий, сколько в их некоторой содержательной общности. Коллизии внутри этих несхожих, но взаимосотносящихся и взаимозаинтересованных подходов дают то самое, что М. М. Бахтин определял как взаимное обогащение смыслов: в первом случае акцентируется последовательность и взаимная соприкосновенность фактов, а во втором — некоторая иерархия понятий и исследовательских приоритетов.

Отсюда — и столь актуальная для нынешней философии и историографии проблема ценности и, повторяю, ответственности историка-наблюдателя в ходе уяснения, описания и обсуждения историко-философских и историко-научных процессов. Как, впрочем, и любых серьезных исторических процессов.

Собственно, историк-текст и наблюдатель-личность суть неотъемлемые состав-

* В первой сквозной цепочке оппозиций тексты Д. И. Иловайского и В. О. Ключевского, В. Р. Вильямса и Н. И. Вавилова как бы взаимно уравниваются, во второй цепочке Иловайский и Вильямс забываются. Абсолютизация обеих цепочек разрушает всякую историческую текстуру. Так что историограф науки вынужден делать свой, нетривиальный выбор соотношения обеих цепочек, — иначе всё исследование полетит прахом.

ляющие предложенного Наталией Ивановной принципа описания, который она определяет как экологию науки*.

Разумеется, как пишет Н. И. Кузнецова, «экология — это удобная метафора, точнее, категориальная методологическая программа» [1, с. 41] (см. также с. 3–8). Но почти любая система символических описаний, опирающаяся на формы обычного языка, держится на метафорах. И «метафоризированная» программа экологии науки здесь едва ли исключение. Однако в нынешней мировой и российской ситуации эта программа представляется и работающей, и вполне гибкой.

Эта программа, думается мне, применима и к пониманию нынешнего глубокого кризиса отечественной научной традиции, которая на протяжении трех столетий — от самых петровских времен — слишком уж интимно была связана с «трусами державства и войны». Причем труды эти исходили из убеждения, что пространства, природные и человеческие богатства страны неисчерпаемы и способны выдержать даже самые фантастические проекты. Азарт расточения России — да и сопредельных ей пространств — именовался удалью и широтой.

Было время надрывной мобилизации сил. Было время самоупоения. Было время негодования и ламентаций. Но, как свидетельствуют труды Н. И. Кузнецовой и ее исследовательский метод, — настает время более пристального и более философского, и вместе с тем — более «экологичного» подхода к мировой и отечественной историко-научной текстуре.

Литература

1. Кузнецова Н. И. Философия науки и история науки: проблемы синтеза / Дисс. в виде научного доклада на соискание ученой степени докт. филос. наук. М.: ИФ РАН, 1998.
2. Рашковский Е. Б. Зарождение науковедческой мысли в странах Азии и Африки. 1960–1970-е годы. М., 1985.
3. Рашковский Е. Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX–XX века. М., 1990.
4. Райнов Т. И. Наука в России XI–XVII веков. Очерки по истории донаучных и естественно-научных воззрений на природу. М., 1940.
5. Кантор В. К. «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Исторические очерки. М., 1997.
6. Платонов С. Ф. Социальный кризис Смутного времени. Л., 1924.
7. Scheler M. Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig, 1926.
8. Пекарский П. П. Введение в историю просвещения в России. СПб., 1862.
9. Ravetz J. R. Scientific Knowledge and Its Social Problems. Oxf. Univ. Press, 1971.
10. Кареев Н. И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. М., 1879.
11. Рашковский Е. Б. Историк как свидетель, или Об источниках исторического познания // Вопросы философии. 1998. № 2.
12. Dorn H. The Geography of Science. Baltimore a. L.: J. Hopkins Univ. Press, 1991.

* Из нынешних произведений историко-научной мысли мне известна лишь одна монография, которую можно было бы с легким сердцем причислить к историографическому ряду экологии науки [12]. Сам заголовок книги («География науки») может обмануть читателя. Ибо, на мой взгляд, это никакая не география, но именно экологический анализ всемирно-исторических судеб естественно-научного знания сквозь цивилизации и века, — анализ, опирающийся на традиции марксистской историографии (прежде всего на труды К. А. Виттфогеля), на элементы этнологии, приложенные к анализу как традиционных, так и современных обществ, и на элементы послепопперовской критической философии науки. Думаю, что для российского научного сообщества было бы делом чести и практической необходимости иметь перевод этой книги.



ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

- Лаппо-Данилевский А. С.* Петр Великий, Основатель Императорской Академии наук в С.-Петербурге. СПб., 1914. — 60 с.
- Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1–10. СПб., 1885–1900.
- Пекарский П.* История Императорской Академии наук в Петербурге. Т. 1, 2. СПб., 1870–1873.
- Вернадский В. И.* Академия наук в первое столетие своей истории // *Химия и жизнь*. 1974. № 3. С. 3–11; илл.
- Вавилов С. И.* 220 лет Академии наук СССР // *Исторический журнал*. 1945. Кн. 5. С. 70–73.
- 220 лет Академии наук СССР [1725–1945]: Справочная книга / Отв. ред. Н. Г. Бруевич. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1945. — 327 с.; илл.
- Очерки по истории Академии наук (220 лет. 1725–1945). М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1945. Серия состоит из выпусков: Физико-математические науки / Под ред. А. Ф. Иоффе. — 78 с.; Химические науки / Под ред. С. И. Вольфовича. — 118 с.; Геолого-географические науки / Под ред. В. А. Обручева. — 104 с.; Биологические науки / Под ред. Л. А. Орбели и Х. С. Коштойнца. — 68 с.
- Уставы Академии наук СССР: Сборник / Сост. А. А. Богданова, Б. В. Левшин, Л. Н. Киселева и др. М.: Наука, 1974. — 207 с.
- 250 лет Академии наук СССР: Документы и материалы юбилейных торжеств / Сб. подгот.: Г. К. Скрябин, Ю. В. Бромлей, С. Р. Микулинский и др. М.: Наука, 1977. — 585 с.
- 250 лет Библиотеке Академии наук СССР: Сб. докладов юбилейной научной конференции, 25–26 ноября 1964 г. / Отв. ред. М. С. Филиппов. М.-Л.: Наука, 1965. — 384 с.; илл.
- Книжные сокровища: К 275-летию Библиотеки АН СССР / Отв. ред. Л. И. Киселева, Н. П. Копанева. Л.: Наука, 1990. — 287 с.
- Комков Г. Д., Левшин Б. В., Семенов Л. К.* Академия наук СССР: краткий исторический очерк. В 2-х тт. Изд. 2-е, перераб и доп. М.: Наука, 1977. Т. 1. 1724–1917. — 383 с.; Т. 2. 1917–1976. — 455 с.
- Копелевич Ю. Х.* Основание Петербургской академии наук / Отв. ред. А. П. Юшкевич. Л.: Наука, 1977. — 210 с.
- Кулябко Е. С.* Первые президенты // *Вестн. АН СССР*. 1974. № 2. С. 144–151.
- Левшин Б. В.* Создание Академии наук в России // *Природа*. 1974. № 1. С. 6–23.
- Шафран И. А.* Из академического сборника портретов ученых // *Вестн. АН СССР*. 1974. № 2. С. 152–154.
- Васильев В. И.* Из истории отечественного академического книгоиздания // *Наука в России*. 1998. № 3. С. 4–9.
- Есаков Е. Д.* От Императорской к Российской: Академия наук в 1917 г. // *Отечественная история*. 1994. № 6. С. 120–132.
- Соболев В. С.* Академия и власть (1918–1930) // *Вестн. РАН*. 1998. Т. 68. № 2. С. 176–182.